НОВАЯ ГАЗЕТА
№ 15 (487)
20 — 26 апреля 1998 г.

26.04.98

Найман Анатолий

В 1997 году Анатолий Найман получил премии за лучшую прозу — в журнале «Новый мир» («Б. Б. и др.») и в журнале «Октябрь» («Славный конец бесславных поколений»). Дважды номинирован на премию Букер. В издательстве «Вагриус» в мае выходит его книга «Славный конец бесславных поколений» (под одной обложкой с романом «Поэзия и неправда»)

Фото Л. ДРАНКЕРА

С женой Галиной. Середина 70-х годов

Анатолий НАЙМАН:

НЕ БЫТЬ НЕ СОБОЙ

Из Довлатова:
Потомок Д'Артаньяна

«По бульвару вдоль желтых скамеек, мимо гипсовых урн шагает небольшого роста человек... Зовут его Анатолий Найман.

Быстрые ноги его обтянуты светлыми континентальными джинсами. В движениях изящество юного князя.

Найман — интеллектуальный ковбой. Успевает нажать спусковой крючок раньше любого оппонента. Его трассирующие шутки — ядовиты.

Соло на ундервуде

Женщина в трамвае — Найману:
«Ах, не прикасайтесь ко мне!»
«Ничего страшного, я потом вымою руки...»

Кроме того, Найман пишет замечательные стихи, он друг Ахматовой и воспитатель Бродского.

Я его боюсь».

Я тоже его боюсь.

Звоню в первый раз и думаю: начнет хамить, брошу трубку.

Пишу о сэре Исайе Берлине. Сэра Исайю у нас почти не знают. Между тем он величайший мыслитель. Адресат многих стихов Ахматовой. Бродский считает, что наша страна острее всех в этом интеллекте нуждается и узнала бы у него о своей духовной истории и тем самым о своих нынешних возможностях гораздо больше, чем у нее до сих пор получалось.

Я читаю «Четыре эссе о свободе» Берлина (эту потрясающую книгу привезли из Лондона, у нас сэр Исайя не издан), читаю вначале просто для себя, не по работе, но, когда захочу рассказать читателям о «Госте из Будущего», как называла его Ахматова, пойму, что ничего у меня не получается, чего-то не хватает; впрочем, ясно чего — личного общения с сэром Исайей или с кем-то, кто знает его близко... Но Берлин недосягаемо в Англии, Бродский соответственно в Америке. А — в России? Найман.

Короче, звоню.

Найман говорит, что болеет, уезжает, отстраненно и лениво интересуется, почему я решила написать о сэре Исайе.

Говорю только о первичном толчке к написанию:

«Читаю сэра Исайю Берлина, а в телевизоре Геннадий Бурбулис рассказывает о себе как о философе».

Найман все сразу понимает, смеется, перестает болеть и уезжать, и мы встречаемся.

Это зима девяносто четвертого.

Но о ней — чуть позже.

А пока — о дне сегодняшнем, весне девяносто восьмого.

Память вычитает время жизни

Найман закончил свою книгу «Славный конец бесславных поколений».

И когда рукопись прислали из издательства, чисто напечатанную, только что с принтера, и он снова ее всю целиком прочитал — пришло давно-давно не испытанное чувство острой грусти.

Пока не написал, все это длилось и было в настоящем времени, как и в прошедшем.

А когда написал, будто жизнь свою в ящик стола или в комод старинный положил и на ключик узорный закрыл.

«Память — это такая вещь, которая вычитает у тебя время жизни. Ты переживаешь что-то два и более раз и за счет этого пропускаешь что-то, что проходит сейчас».

Судьба была к Найману благосклонна. Он не сидел, не копал землю... А все остальное, что тоже было очень тяжело, — вызовы в КГБ или еще хуже, когда кто-то говорил: «А меня о тебе *там* спрашивали...», и слежки и так далее, — все это было, да, неприятно, но не так уж страшно.

Нечто худшее — это когда постоянно испытываешь идеологическое унижение. Не давление — унижение. Которое ты должен переносить смиренно, а в сущности по-рабски.

«Есть огромная разница между смирением и рабством. Смирение ты выбираешь. А рабство — когда тебя заставляют. Если я не ошибаюсь, Иоанн Златоуст в какой-то своей проповеди сказал: «Конечно, нужно прощать обиды. Это главное. Но ты сперва обидься все-таки. Не будь рабом, которого бьют по физиономии, а он этого не замечает».

Когда Найману говорят: «А при коммунистах жить было лучше», он соглашается: «Конечно, лучше. Потому что мы были молодые и с целыми зубами».

И через мгновение — с напором:

«А сейчас вот демократы какие дрянные. Мне 60 лет. А коммунисты вон какие хорошие. Мне было при них 20 лет».

«Память, конечно, избирательна. И это ты ее тренируешь, чтобы она была избирательна.

Но есть более глубокие слои памяти, и они тебе такие вещи подсовывают, что ты просто останавливаешься на улице и физически закрываешь лицо руками — до того отвратительно ты сам поступил и как это ужасно было...»

Когда той зимой девяносто четвертого мы начали беседовать о сэре Исайе Берлине, то проговорили долго — декабрь, январь, февраль...

В феврале девяносто пятого «Новую газету» закрыли. Не по политическим, а по финансовым мотивам. Мы задолжали типографии миллиард рублей.

Газета не выходила полгода.

Все это время Найман звонил мне и смешил.

Звонок.

— Это Анатолий Генрихович. Я хочу сказать: вам крупно повезло, что закрыли газету. Вы сидите и работаете над трудной темой. Когда еще у вас была бы такая возможность...

Звонок.

— Это Анатолий Генрихович. Я тут подумал... По нынешним временам, по-моему, одинаково значительно: что иметь в кармане миллиард рублей, что иметь миллиард рублей долга...

Последнее особенно развеселило Дмитрия Муратова. Главный редактор говорит, что мы бы не выжили, если бы благодаря шуткам Наймана вдруг не почувствовали себя в какой-то момент очень значительными... с миллиардом рублей долга в кармане.

Сэр Исайя Берлин стал героем нашего первого номера — после возрождения газеты в августе девяносто пятого.

В одну из первых встреч Анатолий Найман сказал Исайе Берлину: «Я про вас написал: философ и филолог». Берлин сказал: «Не то и не другое». «Ну не математик же», — сказал Найман. «Нет, не математик». — «А что, историк?» — «Нет, и не историк».

Многое в мире формулируется отрицанием. Кто ты? Я не то-то и не то-то. А из этих «не» получается «да».

(И уже совсем по другому поводу: «Есть вещи, где грамматика протестует. Можно сказать: он — поэт. Но нельзя: я — поэт».)

В романе «Поэзия и неправда» Анатолий Найман написал, что Исайя Берлин — фигура непредставимая в России. И потом добавил: а честно говоря, и нигде в наши дни.

Прошлой осенью сэр Исайя Берлин умер.

Найман был тогда за границей. В квартире его итальянских друзей, где он находился один, вдруг включился автоответчик и чей-то голос попросил передать Найману, что Берлин умер.

Когда Найман вернулся в Москву, ему пришло письмо от сэра Исайи. Оказалось, это было самое последнее письмо, которое написал Берлин. Сэр Исайя отвечал на вопросы Наймана, это было продолжение их личного разговора, длящегося уже много лет. И казалось, ничто не может кончиться и «продолжится жизнью людей в пространстве и времени нормального опыта» (слова Берлина), пока есть ответ души на существование...

В России Исайя Берлин по сей день не переведен, не прочитан, не узнан.

Быть Гагариным, не слетав в космос

«Я недавно по телевизору видел фильм о Брежневе. Сидят моего возраста дядьки и говорят, как было замечательно до 1976 года; потом немножко не так замечательно, но если б всегда было, как до 1976 года, — ну совершенно уникальное получилось бы время! И один дядька (с такой, знаете, доброй физиономией злого человека) говорит (и его слова — последние в фильме): «Это была великая эпоха — брежневская. Что вспомнят через сто, двести лет? Вспомнят, что XX век — это 1961 год, полет человека в космос... А кто целует Гагарина? Брежнев!»

Этим нас всегда отвлекали от того, что есть мы. Отвлекали и отвлекают. Никто не хочет быть собой. Все хотят быть Аллой Пугачевой. Или тем, кто целует.

Человек происходит от человека

Или хотят быть Гагариным. Но все-таки в том, что сделал Гагарин, был риск. Между прочим, этот парень не случайно погиб в том самолете. Даже если это правда, что он пьяный полетел. Все равно в нем была какая-то отметина...

Гагариным быть хорошо, но — не слетав в космос. Комаров полетел в космос и не вернулся. И никто не хочет быть Комаровым. Все хотят быть бладгополучными, но при этом кем-то еще».

Фото Л. ПОЛЯКОВА

Когда начали фотографироваться, Ахматова сказала: «Что, так и будем сидеть?» Найман предложил: «А почитайте стихи». И Ахматова стала читать «Наследницу». 1964 год

Из Довлатова:
«Найман и один его знакомый смотрели телевизор. Показывали фигурное катание.

— Любопытно, — говорит знакомый, — станут Белоусова и Протопопов в этот раз чемпионами мира?

Найман вдруг рассердился:

— Вы за Протопопова не беспокойтесь! Вы за себя беспокойтесь!»

«И раньше только считанные люди следили за тем, чтобы не быть не собой. А остальные не хотели быть собой.

Чего я только не слышал и не читал об Ахматовой! Ахматова — барынька капризная, Сталин в юбке, страшно заботилась о своей репутации... Но Ахматова не случайно была Ахматовой. То есть самой собой. Не о всех своих друзьях, которых я люблю и которые чего-то достигли в жизни, могу так сказать. И не потому что еще рано...»

«И сегодня все хотят — сознательно или бессознательно — смешаться.

Не от-личиться.

В этом смешении — адский план. Чтобы все были всеми.

Мы — поколение, мы — шестидесятники... Они мне надоели страшно, эти шестидесятники. Пока не были шестидесятниками, их еще можно было различить в лицо. А теперь, когда все шестидесятники и все одну и ту же боляту несут... Или — печатающиеся в «Новом мире». А мы — в глянцевых журналах. А мы — новые русские...

Человека натаскивают на то, что он — часть чего-то.

Что́ было раньше и что́ теперь — самое ценное?

Это то, когда ты был тем, кем ты был. Когда не выдавал себя за другого.

В последние восемь — десять лет стало легче быть собой. Но почти никто не захотел...»

О проблеме ранга

«Лет пять-шесть назад один наш писатель, весьма средний и живущий сейчас за границей (впрочем, и то, и другое неважно), сказал мне: «Я был недавно в Москве и понял: наконец-то в литературе кончилась иерархия, нету первых писателей, нету последних, никто никого не лучше. Теперь и в России, как на Западе». На что я сказал: «Не думаю, что хуже знаю дела на Западе, и это совершенно неправильно, что там нет иерархии. Но о России скажу: это не та страна, в которой иерархия может отсутствовать».

Да, несмотря на то, что возникает огромное количество журналов и можно напечатать все что угодно и даже какие-то вещи, явно посредственные, могут иметь гораздо больший успех, чем вещи, так или иначе выделяющиеся, но все равно всегда будет в России Лев Толстой и никогда не случится такого, что скажут: а вы знаете, Боборыкин лучше Льва Толстого!

В сообществе людей тоже всегда есть иерархия.

Люди очень четко отделены друг от друга своими достоинствами и своими недостатками. И каждому определена некая цена. Которую никто, впрочем, как-то специально не определяет и никто не может из живущих людей определить. Но ощущение этого, безусловно, есть».

Достоинство — это то, что остается, если отнять...

Из Довлатова:
«Найман спешит. Я провожаю его. Мне хочется без конца говорить о рассказах. Печататься не обязательно. Это не важно. Когда-нибудь потом... Лишь бы написать что-то стоящее.

Найман рассеянно кивает. Он равнодушен даже к созвездию левых москвичей. Ему известны литературные тайны прошлого и будущего. Современная литература — вся — невзрачный захламленный тоннель между прошлым и будущим...

Мы оказываемся в районе новостроек. Я пытаюсь ему угодить:

— Думаю, Толстой не согласился бы жить в этом унылом районе!

— Толстой не согласился бы жить в этом... году!»

«Такое преследующее, острое впечатление: *перебор всего на свете* сегодня обнажился. Конечно, это случилось не сию минуту. Это накапливалось.

Главный перебор обнаружился где-то в середине 80-х годов.

И этот перебор был не просто и не только в тотальной лжи.

Бронированную газету «Правду» по субботам утепляли «живинкой» типа, как на сибирском перегоне в автобус вошла косуля. И ее долго везли, потом высадили где-то в тайге... И вот это вынести было уже невозможно.

Что творилось в литературной области — наиболее мне близкой? Тоннами выходили романы секретарей Союза писателей. И это был тоже перебор. Самый видимый, материальный! Стояли огромные склады, забитые миллионными тиражами нечитаемых книг.

Перебор был в том, что очередь в 15—16 человек была еще выстаиваемая, ты считал, минут через 50 подойдешь к прилавку. Хотя, нет, 15—16 человек... (Это я сказал, чтобы показать согражданам свою терпимость). На самом деле выстаиваемая очередь — в 7 человек. Но в очереди было 700!

В перестройку казалось: должно произойти избавление от этого перебора. Не произошло.

Более того, случился новый перебор. Со всеми ценностями или развенчанием ценностей. Сложился механизм развенчания ценностей. Мы уже не можем *не* де-конструировать, не разбирать что-то. Вон леса стоят — надо их разобрать. Помойка — надо ее... А что следующее? Стена. Разберем стену. Это оказывается дом. Ну ничего, и дом разберем. Давайте все-все разберем...»

«Победа Дьявола заключается не в том, что он подарил миру фашизм или коммунизм. Он увел людей от той единственной ценности, которая есть, увел человечество от человека как личности.

Нынешний этап — опаснее, гибельнее, чем коммунизм.

Ради Бога, не надо думать, что я считаю: демократия хуже, чем коммунизм. Всё лучше коммунизма!

Но у нас другой разговор.

Что произошло?

Если раньше было четкое разграничение на частную жизнь и на то, во что ты волей-неволей вовлечен и чему ты сопротивляешься... То сейчас — прежнего грубого, пропагандистского энтузиазма нет. А просто все, абсолютно все имеет одну и ту же цену.

Человек *одинаково* восхищен тем, как достойно сидел на стуле генерал Николаев, которого нам показали в программе «Время», и тем, как максимально вульгарно выступает певица NN.

Идет атака, а может, уже атака позади, и это очередная победа господина с рогами и копытами, но такое впечатление, что сейчас полагается конец такому понятию, как чувство собственного достоинства.

Нас хотят убедить: человек держится с достоинством или без достоинства — никому это уже неинтересно».

«И все же и сегодня есть люди (опять же, наверное, очень считанные), которые ведут себя с достоинством. Причем — странная вещь! — вовсе не обязательно тебе эти люди должны нравиться. Или ты не все принимаешь из того, что они делают. Или даже ты абсолютно ни в чем с ними не согласен. Но отмечаешь: это люди с достоинством.

Чубайс или Немцов, к примеру, не герои моего романа. Но у них есть чувство собственного достоинства. И я это говорю не потому, что демократ. То есть не из-за эффекта собаки Павлова. Ведь стоит только произнести: «А у Чубайса и Немцова есть достоинство», как тебе в ответ: «А-а, это ты потому говоришь, что ты — демократ...» То есть зажигается лампочка — и течет слюна...

Но вот — Селезнев. Он говорит какие-то вещи, которые противоречат моим устоям категорически. Или в каких-то ситуациях он лепит, что ему партия велела. И все же видно: он ста-ра-ет-ся, чтобы у него было чувство собственного достоинства.

Чувство собственного достоинства — это такая вещь, которая не присуща политику или журналисту, нет, она присуща только человеку, личности».

«У Булата Окуджавы как был абсолютный интонационный слух, так и абсолютное чувство достоинства».

«Мне кажется, с достоинством ведет себя Наина Ельцина. Чего я не могу сказать о Татьяне Дьяченко».

«Достоинство — это то, что остается, если отнять... Вот можно было у Окуджавы отнять дачу (кстати, очень старенькую, почти развалюху, но это неважно). И — что? Окуджава из-за этого не перестал бы быть Окуджавой».

Поэзия — в самом привилегированном положении, потому что не нужна никому

«Чем занимается моя возлюбленная поэзия? Поэзия, кроме всего что она есть, еще и уникально терапевтическая вещь. Она всегда обращается исключительно к личности. И в первую очередь к читателю, который и есть автор. Поэт обращается к себе. Анатолий Найман обращается к некому Анатолию Найману, про которого ему не все известно. Он что-то спрашивает у этого второго Анатолия Наймана, и этот второй Анатолий Найман, рассказывая ему, не претендует на то, что он, этот второй Анатолий Найман, есть тот самый поэт, который о нем пишет. Нет, это равновеликий, равнозначный поэту читатель. Только если ему, поэту, удается у себя же что-то узнать, чего он до творчества не знал, вот только тогда появляется и читатель посторонний.

Поэты 60-х, 70-х годов — их все знают — обращались к аудитории. Это не значит, что они не обращались к одинокому читателю. Обращались. Но этот одинокий читатель был частью аудитории. Вектор в творчестве направлялся на аудиторию, на массу. Поэзия этого не выдерживает. Она немедленно превращается в демагогию.

Я знаю, что человек как часть человечества не выживет, если не уединится. Для того чтобы оглядеться в маленьком пространстве и увидеть, что в нем находится он сам. Тогда он может уже оттуда, всмотревшись в себя, по-другому смотреть на открывающиеся круги: вот круг его семьи, вот круг его деревни, круг города, в котором он живет, круг человечества.

Сегодня тенденция совершенно другая — тенденция распыления. Только не смотреть в центр! Только — не в себя! Смотреть на окружность. И чем дальше эта окружность — тем лучше.

Я не говорю о том, что спасение, панацея — поэзия. Я говорю только о том, как человек выстраивает свою судьбу, выбирая друзей, занятие, тот или другой стиль уюта, речь, искусство. Точно так же я могу сказать: все, что я перечислил, выбирает человека.

Бродский как-то сказал: мы находимся в самом привилегированном положении, посмотрите, сколько платят за картины, на пластинки такой спрос, а поэзия не нужна никому...

Я не хожу на это навесить орден независимости и чистоты. Но поэзия действительно такая вещь, которая никому не нужна. Поэтому если ты ею занимаешься (или она тобой занимается), то как-то задумываешься, почему ты родился, зачем живешь, в качестве кого... И это к тебе так или иначе притягивает людей, которые тоже склонны размышлять или существовать в этом направлении».

● Зоя ЕРОШОК

У Бродского в ссылке. Архангельская область, деревня Норинская, февраль 1965 года

Публикуется впервые

С Бродским в Америке. Первая встреча через шестнадцать лет после отъезда Бродского из России. 1988 г.

Фото Леонида ЛИБЕРМАНА

● P.S. *В ближайших номерах «Новая газета» опубликует рассказ и стихи Анатолия Наймана.*